

СМЕРТЬ РАБА БОЖЬЕГО



Рассказ

Дед Конодыхин, узколицый, длинный, будто прясельная жердь, глядя в потолок, корчился на лежанке. Его сухие морщинистые руки, нервно вздрагивающие, покоились на костлявой

груди. В груди постоянно что-то хрипело, в животе булькало, отчего дед часто стонал, стягивал к носу лицо, похожее на кукиш, плаксиво обращался в другой угол к непреклонному портретному лику богородицы:

— Помоги, святая дева, у последний раз помоги-и... Колеть у грудях, о-ох, колеть. Ей-бог, кончусь...

И тут же, не выдержав мучительной боли, зло набрасывался на нее, как на собственную старуху:

— А-а, тебе-то чо-о! Сидишь, как истукан, мать твою так. Чтoб ты...— но, спохватившись, переносит свой гнев на старуху, детей.

— Бабкя-а, а бабкя-а! Полькя, Минькя-а... Усе попрытались, нехристи, ждуть моей смертоньки. Чужое добро никак не разделять. О-ох, подайте хоть воды ковшик, изверги. За что ты меня, царица небесная, мучишь? Какие грехи с меня не снимешь?

Никто не подходит к деду: то ли нет никого, то ли назло не идут, и Конодыхин, затратив последние силы на просьбу, лежит молча, думает про себя: «Ну и народ сволочной пошел! Жулик на жулике сидит, жуликом погоняет. Дети, внуки, своя собственная старуха волком смотрит. Небось мои барыши считают да добро делят. У-у, зимо-горы».

Вошла старуха, сгорбленная от непосильной работы, будто давит на нее тяжелый, невидимый камень, подошла к печи, загремела ухватами, чугунами.

— Бабкя-а, скотина-то уся при-смотрена, не-ет?

— Уся,— не глядя отвечает та.

— Быньку-то гоняли пасти?

— Гоняли.

— Кто, Борькя?

— Борькя.

— А Бедиха за картошку деньги принесла?

— Не принесла,— с раздражением отвечает старуха.

— Зажилит мошенница. Можя, ты усе врешь? Себе примыкала, а-а?— от недоверия дед даже попытался привстать. — Только и норовите наджабить.

— Наджабишь тебя, как же. Держи

карман шире!— еще пуще гремит она чугунами.— Помирать собрался, а усе деньгу считаешь. Туда и без нее беруть.

— Не больно я тороплюсь туда, мне и здесь дела хватит. Скота полон двор, бык рабочий, изба вон какая! Пойдеть, прахом усе пойдет без меня. Как воронье наброситесь.

Дед не говорит про деньги, но, вспомнив о них, ослабшей рукой лезет под подушку, ищет засаленный брезентовый мешочек. Пальцы скользят мимо, и он, напрягшись всем телом, испуганно шарит вокруг, пока не наткнется на самое дорогое в жизни — деньги. Деньги есть у него и в завозне, зарыты в земле, только про них никто не знает. Проверить бы, да нет сил покинуть лежанку. А лежанка сделана высоко, наподобие полатей. От входных дверей протянулась до самой печки, концами уперлась в кирпичи. Не слезть, не проверить. Хотя они зарыты надежно, но кто знает, не отыскали ли дети. Небось догадываются, что есть в заначке у старика. Недаром люди болтают, мол, у Конодыхина деньжат целый сундук да еще мешок,

— Брешуть люди,— говаривал в сердцах дед. — Как псы брешуть, завистники.

Он ухмылялся в жидкую бороденку, начинал прикидывать, сколько же у него накоплено денег, сколько выручил зимой за мясо, соленые огурцы, картошку, сбивался и снова считал. Не угадал нынче немного с мясом. До самой весны хранил в погребе, то и дело менял снег, подкладывал лед. Думал весной хорошо барышнуть, да как назло навезли мяса со всего пригорода, а с городского рынка не враз вернешься — пятьдесят верст. На старом быке сутки добираться надо. По четвертаку за кило пошло. Да и дорога беспокойная, недаром простояли как-то на ней с полночи до утра. Едут они по тракту с внуком Борькой, трясутся на телеге по каменным плиткам, а впереди вдруг огонек зеленый показался.

— Дедушка, там не волки?— испуганно всматривался в даль близорукий Борька.

— Иде-е?! — подпрыгнул со страху Конодыхин. — Знать, уолки. Со-жруть Быньку и нас не помилуют. Ох, царица небесная,— осенил себя-крестным знаменем старик и полез под полог за топорами,

— Дедушка, а они нас не съедят?— дрожа спросил Борька.

— Съедать, да стой ты, старый? черт!— прикрикнул на быка.— Вроде на нас бегуть.

Ни живые ни мертвые просидели с топорами в руках до утра, пока не разобрались, что впереди мерцал светофор.

«Сундук с мешком,— мысленно спорит с соседями дед.— Думаете, сам он растет! Тут днем и ночью заботиться надо. Завидуют, а у самих скота полный двор, сверх нормы держат, сволочи. Вон у Овчинникова корова, телка с корову, бык большой, овец больше десятка. Нет сил съездить в район, капнуть бы на него куда следует. В прошлом году его чуть не обложили налогом как единоличника. Наша работа, да только выкрутился, мошенник. Наверно, сунул деньжат в руку».

Не дает покоя старику чужое хозяйство. Все кажется, что у соседей больше, чем у него. Придет Овчинников парнишка к Борьке, а дед тянет с полатей:

— Володькя, а Володькя-а? Коров-то у вас сколькя-а?

— Одна,— исподлобья отвечает тот.

— А телок?

— Одна-а...

— А овечек-то много?— с открытым ртом ждет старик.

— Не знаю,— порывается уйти-мальчишка.

— Постой-постой,— елейным голосом просит Конодыхин,— ты сядь, сядь-ка поближе. Старых-то сколько, а ярк? Десятка два, болтають люди?..

— Не считал...

— А ты посчитай и мне скажи потом, а?

— Иди да считай!— вскочит и убежит парнишка, а про себя подумает, что недаром деда Ищейкой зовут. Все

выпытывает.

— Жулье-о, — тянет горестно дед, — и эти сопляки в них, научены. Ох-хо-ох. Чуть етто не долбанули вас районные агенты. Выкрутились, мошенники. Точно, сунули...

— Старуха-а, бабка-а! Подай кружку молока. У-у, старая мошенница, уползла к своим выродкам, — качает головой на половину дочери Польки. — Дармоеды.

— Молока-то не вздумай им таскать, и так прожить, — напустился потом на старуху. — Лучше к поезду отнеси, усе деньги.

— Дак ведь малой еще Борька-то, — несмело вступится за внука бабка, — без отца растет, сиротка,

- Не сдохнеть.

И цедит старуха молоко, меряет пол-литровой банкой, которые с лежанки считает дед. Сама капли в рот не возьмет, — все пассажирский выпьет. А вечером Конодыхин прячет замусоленные тройки в брезентовый мешочек, завязывает бечевкой хитрый узел, чтоб никто случайно не ополовинил, спросит все до копейки: своя голова — своя бухгалтерия, точная как станционные часы.

Бабка живет впроголодь, довольствуется, что пошлет бог. А тот посылает немного. Бывало, дед принесет из амбара кусок мяса, принесет с выдачи, скажет:

— Свари-ка, старуха, махан. Давно мясного не ел.

И варит бабка, целый день держит в загнетном вольном жару, чтобы наваристей получилось. Придет дед обедать, отопрет ключом комод, достанет полбулки городского хлеба, аккуратно нарежет и крошки соберет в ладошку, в рот бросит. Поставит чугуна на стол, засучит рукава — и туда. Съест мясо, кости в кучу скидает.

— Бабка, посмотрите, можа, пошмааете чего, — предложит великодушно. Отодвинув чугуна в сторону, соберет оставшиеся кусочки хлеба, запрет в комод. Иногда с хорошей выручки разорится на бутылку зубровки. Опрокинет рюмку, остальное в сундук под замок с боем спрячет. Старуха с

детьми не перечат, доедают объедки, жуют хлеб, выпеченный из полученных на элеваторе отходов — черный, тугой словно-кирпич. Дай кобелю — не станет жрать.

— Человек — не собака, все сожреть, — любит говорить Конодыхин.

Однажды, в пору сенокоса, когда дед с первым поездом укатил в город, сын взялся за старуху:

— Мам, зарежем хоть курицу, пока отца нет, тяжело ведь косить-то!

— Да он же усех их наперечет знает. Со свету сживет, иуда.

— Скажем, что пропала. До каких пор будем на него батрачить! Он мошну набивает да по городам разъезжает, а мы животы надрываем. Не пойдем косить!

И, скрепя сердце, согласилась старуха, взяла грех на душу. Первый раз в жизни варила кратче, с волнением и радостью. Тут же, предвкушая королевский завтрак, сидели повеселевшие Михаил, Полина, резвился на кухне издерганный ссорами Борька. И уже готовили чашки, резали ломти черного и твердого как кирпич хлебного суррогата. Да, хлеб был твердым. Его последнее время не берет даже Катя Баранова, известная во всей округе нищенка. Но зато суп будет с мясом, так необходимым на тяжелой работе.

Загорались лица косарей добрыми улыбками, да только так же рано отгорели. Отворилась вдруг дверь: вошел Конодыхин. Вернулся с дороги, будто чувствовал старый скупердяй.

— Штой-то, бабка, скотину режете, что ли? — потянул носом воздух. — По миру пустить хочете, своевольничать вздумали, мошенники!

— Дык мы, дык она... — испуганно сквасила бабка морщинистое лицо, похожее на вывернутую варежку, — цыпушка под машину попала. Не пропадать добру-то, — вывернулась старуха, трясась со страху.

— Собирай на стол, шамать буду.

И снова дед волосатыми руками таскал мясо из чугуна. И снова, не прекословя старшему, семья доглядывала объедки, а у Михаила и Полины были

хмурые, отчужденные взгляды.

Охота, ох как охота вновь встать на ноги деду. Не привык он неделями валяться на лежанке. Во дворе столько дел, скотины. Да и там, за двором, где часто по ночам пропадает старик, ждут дела, кипит жизнь. «Волка ноги кормят,— говорит он старухе. — Иде сена клок, иде вилы в бок»,—и не дай бог встретит затемно копну сена у дороги или оставшиеся дрова на делянке где-нибудь у озера Кукуля. Ночь спать не будет, всю семью на ноги подымет, только так запрячет, что ни одной ищейке не пронюхать.

Случается поживиться деду и барашком. На ночь прибьется ко двору чужой — и был таков. Поминай как звали. Конодыхин его затемно в город спровадит. И пытай не пытай домочадцев — как в воду канет, клочка шерсти нигде не отыщешь.

Зато не приведи господь, если дед за кем-то из соседей неладное заметит. Неделю будет выпытывать, как коршун вокруг кружить. И уж непременно донесет в район: сам съездит, клязу ли нацарапает. На любого беду накличет. Не было у него ни друзей, ни родни. И сам он появился в этих краях годах в двадцатых. По слухам, где-то раскулачили его или собирались раскулачить. Точно никто не знал. Да и как узнаешь, когда в дом никого не пустит, на семи запорах сидит. Из-за этого не было друзей и у детей его, и у внука. Постучит в ворота соседский парнишка, спросит:

— Борька дома?

Гремят полчаса засовы, приоткроеся щелка.

— Кто-й тама? Нету Борьки, бегаеть иде-то,— непременно соврут. И снова лязг щеколд, скрип задвижек.

Один Вовка Овчинников проникал иногда во двор. Проникал хитро, никто, кроме Борьки, и не догадывался. А Володька подойдет к забору, высмотрит во все щелки, потом спрячется за раскидистый тополь и свистнет лесной птичкой:

— Тюи, тюи, тюи... Фьюти, фьюти-и-и...

И ждет, пока дружок не ответит таким же посвистом. Порой долго ждет, пока тот не улизнет от какой-нибудь работы или дедовых глаз, не откроет подворотню или хитрую калитку. Стучать в жизнь не станет. Бывало, дед в настойчивого посетителя железным ломом из-за ворот запустит. Однажды чуть Юрку Бедина не смазал.

Не хотел и он знаться с людьми. В изодранном полушубке, в штанах из овчины, из которых не вылезал ни зимой ни летом, с подозрительным нечеловеческим взглядом, он скорее смахивал на затравленного зверя. Зачем люди, зачем друзья, когда у него есть кладеный ездовой бык. Его-то он любил, берег своего Быньку пуще зеницы ока. Сена побольше подбросит и пойлом добрым заставит напоить. В табун упаси господь отпустить! «Загубять Быньку»,— день и ночь о нем волновался. Частенько, трясаясь по разбитым дорогам на телеге, мечтал о конях. Ох, как хотел иметь коней! Да нет их, власть не разрешает держать. А он бы нашел им работу. Коней бы да десятин полтора ста земли-кормилицы. «У-у, дожدهшься, как же! Чтоб вам лихо было»,— стонал злобно Конодыхин. Хотя был у него в войну клочок за сенобазой, неизвестно какими путями добытый. Сеял на нем дед рожь, вязал снопы, привозил на быке домой, молотил. С ног валились старуха и дети от адского труда, да только деду-то! Душа у него пела: свое, хозяйское, кровное,

Теперь и того клочка нет. Не дает больше колхоз, сам обрабатывает, успеваает.

—У-у, змей!— неслышно шепчет старик, вспомнив председателя. На Ершова у него своя злость, особенная. Как-то промышлял он на быке, да возвращался с пустыми руками. А навстречу председатель. Остановил его Конодыхин, спросил, куда путь держит.

— С поля еду,— лукаво ответил Ершов, такой же пожилой, но еще крепкий председатель, — Пшеницы вот два мешка осталось от посева, не знаю, куда деть.

— Э-э, паря, помогу твоему горю,

по тыще рублей за мешок дам,— загорелись глаза у деда.

— Мало,— не соглашался Ершов,— по две пойдет,

— Ну, паря, ни по-твоему, ни по-моему — по полторы?

— Забирай,— неожиданно согласился Аполлоныч. А в глазах злые огоньки, ожидание.

Дед поставил на край телеги мешок, подлез под него, крикнул для надежности и понес. Вернулся за другим, так же взвалил на спину, поволок к повозке, И только кинул аккуратно один к другому, чтобы накрыть пологом, как на спину обрушился удар председательского кнута. От страшной боли Конодыхин присел, чуть не завалился под телегу, но следующий удар заставил его тут же вскочить, и он понесся вокруг телеги.

— За что, Аполлоныч, за что душу губишь?!— вопил он на бегу.— Отпусти...

— Знает кошка, чье мясо съела. Вот тебе — в колхозе сено погноили! Вот тебе — зерно сожгли!.. Вези в правление. Вези, блудня, ябеда, насмерть заporю!

— Отпусти душу на покаяние,— молил Конодыхин.

— Будешь знать, как кляузничать на колхоз, чертова ищейка!

Ершов до самой деревни стегал Конодыхина, пока из его овчинных штанов не появился резкий запах. Дед со слезами на глазах таскал в колхозный амбар зерно, молил на коленях, чтобы председатель не жаловался в суд. Обещал и носа не показывать в район. Смиловался, отпустил председатель.

Две недели огнем горела спина, будто черти смолили ее в чадной преисподне.

— Волки! Усе вы волки советские!— с пеной у рта клял все и вся Конодыхин. — Нету на вас Колчака. Усех, усех под чистую порешили бы. Мало вас Гитлер вешал. Придеть, придеть уремечко, нападут на вас мор, чума заморская. Ни один антихрист не скроется.

Худой, ободранный как шакал выл он на лежанке. Все припомнилось: как отняли у него сотню десятин земли,

коней, работников, которым смолоду любил показать свою власть. Не стало коней, но есть Бынька, не стало батраков, но осталась семья. Когда-то он чуть не насмерть заporол пастуха-мальчишку за то, что потерял жеребенка. Теперь готов порешить бабку, внука, если посмотрят вдруг такого же старого и вонючего, как хозяин, быка.

Затеряться, засесть бы деду где-нибудь в дремучем лесу, как медведю, да уж годы не те. Не смотреть бы на этих людей, что отняли у него добро, да уж не скраться от их дьявольских глаз. Прогнать бы старуху, детей вон, да только кто же станет гнуть на него спину? Обучить бы птиц, зверей работать на себя, ведь им не надо, они не попросят... Убежал он по-воровски из отчего села, ночью снялся, молчком, да не убежал от людей, от себя. Обнес трехсаженным забором-тыном усадьбу, опутал в три нити колючей проволокой, будто тюрьму, да не вышло берлоги.

Никто не ходит к нему, но только сам частенько идет к людям. Не к своим, деревенским, а на базар, в город. Оказывается, без них мошны не набьешь. Оказывается, с их помощью растет она быстро, словно тополь в его палисаднике. Это хорошо, что недавно была большая война, хорошо, что были затем неурожай, и они, измученные, уставшие, ищут любую пищу, лишь бы набить желудок. Насолил десять кадушек огурцов, капусты, украденной на колхозном поле,— город съел чуть не с кадками. Наколот своего скота, навалил соседского, забредшего случайно,— только дай горожанам мяса. Увез три воза заплесневелой в сырой яме картошки — все подчистит будто метлой город. Пусть пролежавшее до весны мясо с душиком, огурцы с плесенью, капуста зацвела — человек все съест. Весной нехватка, весной дороже. Вот логика. И давно бы затесался в тайгу Конодыхин, только нельзя ему без базара.

— Люди, как волки. Жрать хочуть,— скажет довольный бабке.

Пожалел. А так бы подался в леса, к сердитым медведям в соседи: все не

люди. Подался бы, точно, только боится признаться себе дед, что без людей завянет мешок с деньгами, как полевой колокольчик на морозе.

Да, не любил Конодыхин людей, поэтому мстил им где только мог. В колхозе погноили сено, у Овсянникова лишняя телушка, элеваторские разини сожгли бунт зерна — одни слова знал старикан. И где-то его слушали, откуда-то выезжали комиссии, судили и штрафовали невинных. Кто-то еще верил в черные наветы, кто-то еще давал ход этим кляузам. Поэтому и прозвали Прокурором, другого имени не знали. Да и было ли имя у старого шушардинского волка, что выходит на охоту темными ночами!

— У-у, мошенники! — шипит Конодыхин.

Он вылезает из-под облезлого тулупа, ползет к печи. Там, со стороны глухой сосновой стены, давно подмечен тайничок. Дрожащими, обессилевшими пальцами старается вынуть кирпич. Кое-как приподняв один край, вцепился в него зубами, тянет, пока не вываливает совсем. Достав из-за пазухи мешочек с деньгами, опускает в темную нишу. Скользнув, мешочек исчезает. Вот и положен на место кирпич, будто не вынутый никогда. Дед ползет на лежанку, под драный вонючий тулуп.

— Найдете черта лысого! — с облегчением шепчет.

Нет, не найдут ни старуха, ни дети затаенных денег. Одни сгниют в завозне, в земле, другие поглотит пламя. И все-таки не жалеет дед о своей жизни, делах, сотворенных на земле. Сызмальства мечтал он стать богачом, потуже набить кубышку. И почти выполнил свою мечту, вот только пользоваться накопленным не доведется. Да это не так уж важно: ел-пил по-господски, у соседей не занимал. Он даже не жалел о той последней роковой поездке, когда с ним случилась беда, — ведь вернулся с карманом денег. А все виноват колодец, попавшийся на пути. Тогда он возвращался от последней электрички, шел с мешком по путям и вдруг сорвался, полетел в бездну. Не знал

он, что убрали старую паровозную колонку, что свалится в трехметровый колодец, что будет биться о чугунные трубы будто рыба об лед.

— Говорила, не шляйся ночью, — причитала старуха у изголовья.

— Не вой зря, — прикикивал зло, — небось ждешь не дождешься, когда уперед ногами хозяина понесут...

Нашел его путевой Овчинников, ближний сосед из всего порядка. На себе приволок домой, помог старухе затащить на лежанку.

— Черта лысого, а денег не найдете, — шепчет удовлетворенно Конодыхин, забываясь под облезлым тулупом.

Он помер зимой, когда на дворе мела пурга. Помер потихоньку, без криков, будто смертельно раненный зверь, забравшись в чащобник. В это время подымают волки, обессиленные от свадебных драк, голода.

Гроб выносили через малые ворота, через которые он выбирался по ночам с набитыми под завязки узлами. Соседей почти не было, как не было слез. Его положили на сани, везли на Быньке. Бык тонул по брюхо в сугробах, часто останавливался, смотрел по сторонам, словно ждал, когда же скинут эту ненужную никому ношу.

Не произносили речей, долго не ждали у ямы — ветер снова крепчал. Кидали лопатами стлывые комки земли со снегом. Тронулись в обратный путь, говоря о надоевших февральских буранах, плохой погоде, будто возвращались с обычной работы. Снегом быстро заметало черное пятно могилы, покрывало свежеструганный топором березовый крест, карандашную надпись на нем: «Здесь похоронен раб божий Конодыхин».